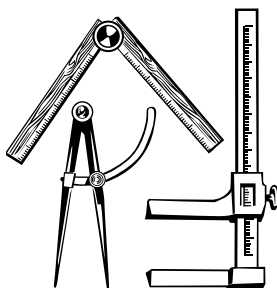




Софья Ковалевская

—

**Дневники
Нигилистка**



Москва
2023

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
К56

Оформление серии *С. Костецкого*

Ковалевская, Софья Васильевна.
К56 Дневники; Нигилистка : повесть / Софья Ковалевская. — Москва : Эксмо, 2023. — 320 с. — (Яркие страницы).

ISBN 978-5-04-174325-3

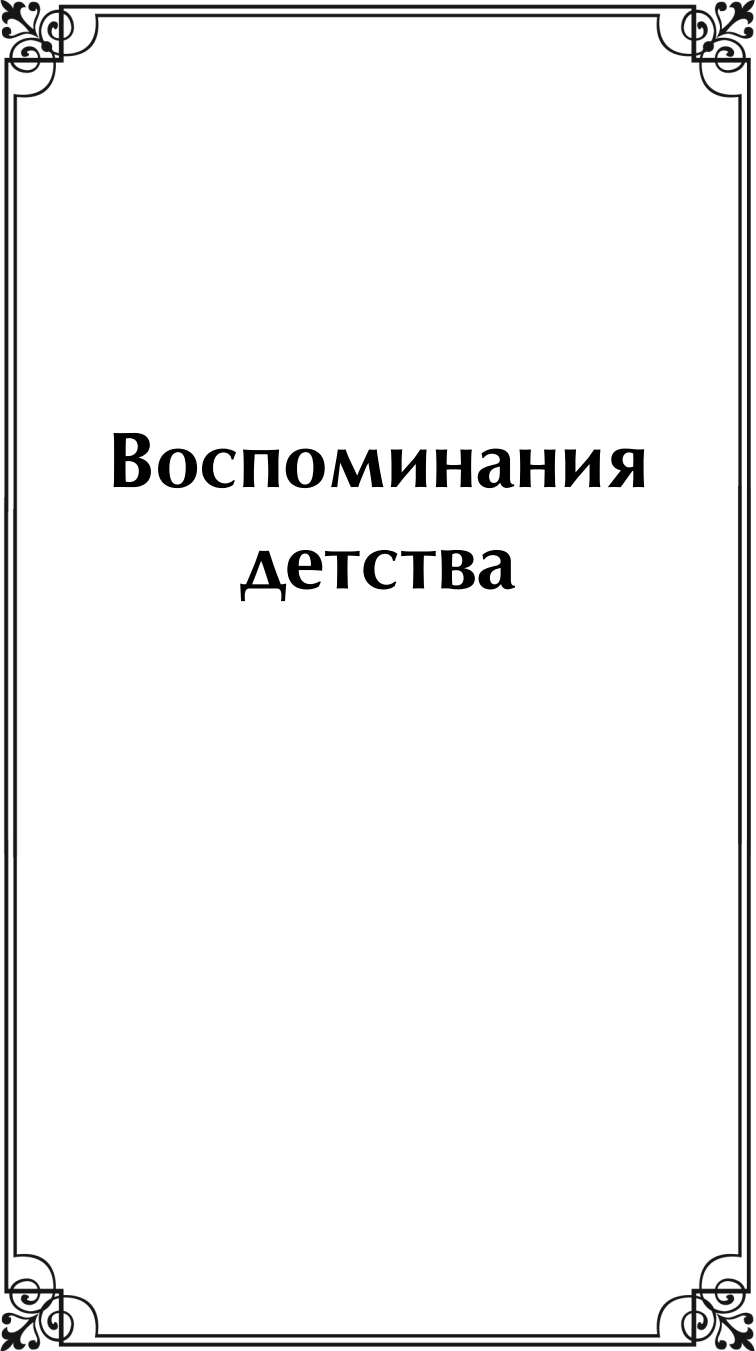
Софья Васильевна Ковалевская (1850—1891) — первая женщина-математик в России и первая в мире женщина-профессор, механик и астроном, писательница и литературный критик.

На страницах ее автобиографических «Воспоминаний детства» можно найти интересную семейную хронику и окунуться в систему воспитания детей середины XIX века, которая не всегда учитывала интересы одаренной и яркой натуры Ковалевской. А повесть «Нигилистка» рассказывает о трагических судьбах революционеров-народников, жертвенности и стремлении к нравственному подвигу.

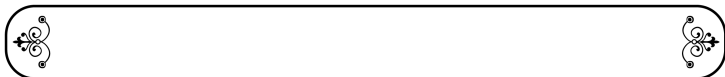
УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-174325-3

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023



**Воспоминания
детства**



I. ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Хотелось бы мне знать, может ли кто-нибудь определить точно тот момент своего существования, когда в первый раз возникло в нем отчетливое представление о своем собственном я, — первый проблеск сознательной жизни. Когда я начинаю перебирать и классифицировать мои первые воспоминания, со мной всякий раз повторяется то же самое: эти воспоминания постоянно как бы раздвигаются передо мною. Вот, кажется, нашла я то первое впечатление, которое оставило по себе отчетливый след в моей памяти; но стоит мне остановиться на нем мои мысли в течение некоторого времени, как из-за него тотчас начинают выглядывать и вырисовываться другие впечатления — еще более раннего периода. И главная беда в том, что я никак не могу определить сама, какие из этих впечатлений я *действительно* помню, т. е. действительно пережила их, и о каких из них я только слышала позднее в детстве и вообразила себе, что помню их, тогда как в действительности помню только рассказы о них. Что еще хуже — мне никогда не удастся вызвать ни одно из этих первоначальных воспоминаний во всей его чистоте, не прибавив к нему невольно чего-либо постороннего во время самого процесса воспоминания.

Как бы то ни было, вот та картина, которая одна из первых рисуется передо мною всякий раз, когда я начинаю вспоминать самые ранние годы моей жизни.

Гул колоколов. Запах кадила. Толпа народа выходит из церкви. Няня сводит меня за руку с паперти, бережно охраняя меня от толчков. «Не ушибите ребеночка!» — умоляет она поминутно теснящихся вокруг нас людей.

При выходе из церкви к нам подходит знакомый няни в длинном подряснике (должно быть, дьякон или дьячок) и подает ей просфору: «Кушайте на здоровье, сударыня», — говорит он ей.

— А ну-ка, скажите, как вас зовут, моя умница? — обращается он ко мне.

Я молчу и только гляжу на него во все глаза.

— Стыдно, барышня, не знать своего имени! — трунит надо мной дьячок.

— Скажи, маточка: меня, мол, зовут Сонечка, а мой папаша генерал Крюковской! — поучает меня няня.

Я стараюсь повторить, но выходит, должно быть, нескладно, так как и няня, и ее знакомый смеются.

Знакомый няни провожает нас до дому. Я всю дорогу припрыгиваю и повторяю слова няни, коверкая их по-своему. Очевидно, этот факт для меня еще нов, и я стараюсь запечатлеть его в моей памяти.

Подходя к нашему дому, дьячок указывает мне на ворота.

— Видите ли, маленькая барышня, на воротах висит крюк, — говорит он, — когда вы забудете, как зовут вашего папеньку, вы только подумайте: «висит крюк на воротах Крюковского» — сейчас и вспомните.

И вот, как ни совестно мне в этом признаться, этот плохой дьячковский каламбур врезался в моей памяти

и составил эру в моем существовании; с него веду я мое летосчисление, первое возникновение во мне отчетливого представления, кто я такая, какое мое положение в свете.

Соображая теперь, я думаю, что мне было тогда года два-три и что происходила эта сцена в Москве, где я родилась. Отец мой служил в артиллерии, и нам часто приходилось переезжать из города в город, следуя за ним по делам его службы.

За эту первую, отчетливо сохранившуюся в моем воспоминании сценой следует опять длинный пробел, на сером, туманном фоне которого выделяются только в виде рассеянных светлых пятнышек разные мелкие дорожные сценки: собирание камешков на шоссе, ночлеги на станциях, кукла моей сестры, выброшенная мною из окна кареты, — ряд разбросанных, но довольно ярких картин.

Сколько-нибудь связанные воспоминания начинаются у меня лишь с того времени, когда мне было лет пять и когда мы жили в Калуге. Нас было тогда трое детей: сестра моя Аня была лет на шесть меня старше, а брат Федя года на три моложе.

Детская наша так и рисуется перед моими глазами. Большая, но низкая комната. Стоит няне стать на стул, и она свободно достает рукою до потолка. Мы все трое спим в детской; были толки о том, чтобы перевести Аньюту спать в комнату ее гувернантки, француженки, но она не захотела и предпочла остаться с нами.

Наши детские кровати, огороженные решетками, стоят рядом, так что по утрам мы можем перелезть друг к другу, не спуская ног на пол. Несколько поодаль стоит большая нянина кровать, над которой висится целая гора перин и пуховиков. Это — нянина гордость.

Иногда днем, когда няня в добром расположении духа, она позволяет нам поваляться на своей постели. Мы взбираемся на нее при помощи стула, но лишь только мы взберемся на самый верх, гора эта тотчас под нами проваливается, и мы погружаемся в мягкое море пуха. Это нас очень забавляет.

Стоит мне подумать о нашей детской, как тотчас же, по неизбежной ассоциации идей, мне начинает чудиться особенный запах — смесь ладана, деревянного масла, майского бальзама и чада от сальной свечи. Давно уже не приходилось мне слышать нигде этого своеобразного запаха; да я думаю, не только за границей, но и в Петербурге, и в Москве его теперь редко где услышишь; но года два тому назад, посетив одних моих деревенских знакомых, я зашла в их детскую, и на меня пахнул этот знакомый мне запах и вызвал целую вереницу давно забытых воспоминаний и ощущений.

Гувернантка-француженка не может войти в нашу детскую без того, чтобы не поднести брезгливо платка к носу.

— Да отворяйте вы, няня, форточку! — умоляет она няню на ломаном русском языке.

Няня принимает это замечание за личную обиду.

— Вот что еще выдумала, басурманка! Стану я отворять форточку, чтобы господских детей перепростудить! — бормочет она по ее уходе.

Стычки няни с гувернанткой повторяются тоже аккуратно, каждое утро.

Солнышко уже давно заглядывает в нашу детскую. Мы, дети, один за другим начинаем открывать глазки, но мы не торопимся вставать и одеваться. Между моментом просыпания и моментом приступа к нашему туалету лежит еще длинный проме-

жуток возни, кидания друг в дружку подушками, хватания друг дружки за голые ноги, лепетание всякого вздора.

В комнате распространяется аппетитный запах кофе; няня, сама еще полуодетая, сменив только ночной чепец на шелковую косынку, неизбежно прикрывающую ей волосы в течение дня, вносит поднос с большим медным кофейником и еще в постельке, неумытых и нечесанных, начинает угощать нас кофе со сливками и со сдобными булочками.

Откушав, случается иногда, что мы, утомленные предварительной возней, опять засыпаем.

Но вот дверь детской отворается с шумом, и на пороге показывается рассерженная гувернантка.

— Comment! vous êtes encore au lit, Annette! Il est onze heures. Vous êtes de nouveau en retard pour votre leçon¹ — восклицает она гневно.

— Так невозможно долго спать! Я будут жаловаться генералу! — обращается она к няне.

— Ну и ступай, жалуйся, змея! — бормочет ей вслед няня и, по ее уходе, долго не может успокоиться и все продолжает ворчать:

— Уж господскому дитяти и поспать-то вдоволь нельзя! Опоздала к твоему уроку! Вот велика беда! Ну и подождешь — не важная фря!

Однако, несмотря на ворчанье, няня все же считает теперь нужным приняться серьезно за наш туалет, и, надо сознаться, если приготовления к нему тянулись долго, зато сам туалет справляется очень быстро. Вытрет нам няня лицо и руки мокрым полотенцем, проведет раза два гребешком по нашей растрепанной гриве,

¹ Как! вы еще в постели, Анюта! Уже одиннадцать часов. Вы снова опоздали к уроку! (*фр.*)

наденет на нас платьице, в котором нередко не хватает нескольких пуговиц, — вот мы и готовы!

Сестра отправляется на урок к гувернантке, мы же с братом остаемся в детской. Не стесняясь нашим присутствием, няня подметает пол щеткой, подняв целое облако пыли; прикроет наши детские кровати одеяльцами, встряхнет свои собственные пуховики — и затем детская считается прибранною на весь день. Мы с братом сидим на клеенчатом диване, с которого местами содрана клеенка и большими пучками вылезает конский волос, и играем нашими игрушками. Гулять нас водят редко, только в случае исключительно хорошей погоды, да еще в большие праздники, когда няня отправляется с нами в церковь.

Кончив урок, сестра тотчас опять прибегает к нам. С гувернанткой ей скучно, а у нас веселее, тем более что к нашей няне часто приходят гости, другие няни или горничные, которых она угощает кофеем и от которых можно услышать много интересного.

Иногда заглянет к нам в детскую мама. Когда я вспоминаю мою мать в этот первый период моего детства, она всегда представляется мне совсем молоденькой, очень красивой женщиной. Я вижу ее всегда веселой и нарядной. Чаще всего вспоминается она мне в бальном платье, с декольте, с голыми руками, со множеством браслетов и колец. Она собирается куда-нибудь в гости, на вечер, и зашла проститься с нами.

Лишь только она покажется, бывало, в дверях детской, Анюта тотчас подбежит к ней, начнет целовать ей руки и шею и рассматривать и перебирать все ее золотые безделушки.

— Вот и я буду такая красавица, как мама, когда вырасту! — говорила она, нацепляя на себя мамины

украшения и становясь на цыпочки, чтобы увидеть себя в маленьком зеркальце, висящем на стене. Это очень забавляет маму.

Иногда и я испытываю желание приласкаться к маме, взобраться к ней на колени; но эти попытки как-то всегда оканчиваются тем, что я, по неловкости, то сделаю маме больно, то разорву ей платье и потом убегу со стыдом и спрячусь в угол. Поэтому у меня стала развиваться какая-то дикость по отношению к маме, и дикость эта еще увеличивалась тем, что мне часто случалось слышать от няни, будто Анята и Федя — мамины любимчики, я же — нелюбимая.

Не знаю, была ли это правда или нет, но няня часто повторяла это, не стесняясь моим присутствием. Может быть, это ей только так казалось именно потому, что она сама любила меня гораздо больше других детей. Хотя она одинаково вырастила нас всех троих, но меня почему-то считала по преимуществу своей питомицей и потому обижалась за меня за всякую оказываемую мне, по ее мнению, обиду.

Анята, как значительно старшая, пользовалась, разумеется, большими преимуществами против нас. Она росла вольным казаком, не признавая над собой никакого начала. Ей был открыт свободный доступ в гостиную, и она с малолетства заслужила себе репутацию прелестного ребенка и привыкла занимать гостей своими остроумными, подчас очень дерзкими выходками и замечаниями. Мы же с братом показывались в парадных комнатах только в экстренных случаях; обыкновенно мы и завтракали, и обедали в детской.

Иногда, когда у нас бывали гости к обеду, в детскую вбежит ко времени десерта мамина горничная, Настасья.

— Нянюшка, оденьте поскорей Феденьке его голубую шелковую рубашечку и ведите его в столовую! Барыня хотят его гостям показать, — говорит она.

— А Сонечку во что приказано одеть? — спрашивает няня сердитым голосом, так как уже предвидит, какой будет ответ.

— Сонечку не надо. Она и в детской посидит! Она у нас домоседка! — с хохотом отвечает горничная, зная, как этот ответ рассердит нянюшку.

И действительно, няня усматривает в этом желании показать гостям одного Феденьку жестокую обиду мне и долго потом ходит сердитая, бормочет что-то под нос, глядит на меня соболезнующим взором и, проводя рукой по моей голове, приговаривает: «Бедная ты моя, ясонька!»

Вот вечер. Няня уже уложила меня и брата в кроватку, но сама еще не сняла с головы своей неизменной шелковой косынки, снятие которой обозначает у нее переход от бдения к покою. Она сидит на диване перед круглым столом и в обществе Настасьи распивает чай.

В детской полутемно. Из мрака выступает только желтым пятном грязноватое пламя сальной свечи, с которой няня подолгу забывает «снять», а в противоположном углу комнаты голубенький, трепещущий огонек лампадки вырисовывает на потолке причудливые узоры и ярко озаряет благословляющую руку спасителя, рельефно выступающую из посеребренной ризы.

Совсем почти рядом со мной я слышу ровное дыхание спящего брата, а из угла, за лежанкой, доносится тяжелое носовое посвистывание приставленной к нам для услуг девочки, курносой Феклуши, няниной

souffre-douleur¹. Она спит тут же в детской на полу, на куске серого войлока, который она расстилает по вечерам, а на день прячет в чуланчик.

Няня и Настасья разговаривают вполголоса и, воображая себе, что мы крепко спим, не стесняясь, перебирают все домашние события. А я между тем не сплю, а, напротив того, внимательно прислушиваюсь к тому, что они говорят. Многого я, разумеется, не понимаю; многое мне неинтересно; случается, я засну посередине какого-нибудь рассказа, не дослушав до конца. Но те отрывки их разговора, которые доходят до моего сознания, складываются в нем в фантастические образы и оставляют по себе неизгладимый след на всю жизнь.

— Ну, как же мне не любить ее, мою голубушку, больше других детей, — слышу я, говорит няня, и я понимаю, что речь идет обо мне. — Ведь я ее, почитай, одна совсем вынянчила. Другим до нее и дела не было. Когда Анюточка-то у нас родилась, на нее и папенька, и маменька, и дедушка, и тетушки наглядеться не могли, потому что она первенькая была. Я ее, бывало, и понянчить-то как следует не успею: поминутно то тот, то другой ее у меня возьмет! Ну, а с Сонечкой другое было дело.

На этом месте рассказа, повторяемого очень часто, няня всегда таинственно понижает голос, что заставляет меня, разумеется, еще больше наострить уши.

— Не вовремя она родилась, моя голубушка, вот что! — говорит няня полусшепотом. — Барин-то наш почитай что накануне самого ее рождения в Английском клубе проигралась, да так, что все спустили — барынины брильянты пришлось закладывать! Ну, до того ли тут было, чтобы радоваться, что бог дочку послал! Да

¹ Козел отпущения (*фр.*).

к тому же и барину, и барыне непременно сынка хотелось. Барыня, бывало, все говорит мне: «Вот увидишь, няня, будет мальчик!» Они все и приготовили как следует мальчику: и крестик с распятием, и чепчик с голубенькой ленточкой, — ан нет, вот поди! — родилась опять девочка! Барыня так огорчилась, что и глядеть на нее не хотели, только уж Феденька их потом утешил.

Этот рассказ повторялся няней очень часто, и я всякий раз слушала его с тем же любопытством, так что он прочно врезался в моей памяти.

Благодаря подобным рассказам во мне рано развилось убеждение, что я нелюбимая, и это отразилось на всем моем характере. У меня все более и более стала развиваться дикость и сосредоточенность.

Приведут меня, бывало, в гостиную — я стою, насупившись, ухватившись обеими руками за нянино платье. От меня нельзя добиться слова. Как ни уговаривает меня няня, я молчу упорно и только поглядываю на всех исподлобья, пугливо и злобно, как травленный зверек, пока мама не скажет, наконец, с досадой: «Ну, няня, уведите вы вашу дикарку назад в детскую! С ней только стыд один перед гостями. Она, верно, свой язычок проглотила!»

Посторонних детей я тоже дичилась, да и видела я их редко. Я помню, впрочем, что когда мы на прогулке с няней встречали иногда уличных девочек или мальчиков, играющих в какую-нибудь шумную игру, я часто испытывала зависть и желание присоединиться к ним. Но няня никогда не пускала меня. «Что ты, маточка! Как можно тебе, барышне, играть с простыми детьми!» — говорила она таким укоризненным и убежденным голосом, что мне — я как теперь помню — тотчас же самой становилось стыдно моего желания.

Вскоре у меня прошла даже и охота, и умение играть с другими детьми. Я помню, что когда ко мне придут, бывало, в гости какую-нибудь девочку моих лет, я никогда не знаю, о чем с ней говорить, а только стою и думаю: «да скоро ли она уйдет?»

Всего счастливее я бывала, когда оставалась наедине с няней. По вечерам, когда Федю уже уложат спать, а Анята убежит в гостиную, к большим, я садилась рядом с няней на диване, прижималась к ней совсем близко, и она начинала рассказывать мне сказки. Какой глубокий след эти сказки оставили в моем воображении, я сужу по тому, что хотя теперь, наяву, я и помню из них только отрывки, но во сне мне и до сих пор нет-нет да вдруг и приснится то «черная смерть», то «волк-оборотень», то 12-головый змей, и сон этот всегда вызовет во мне такой же безотчетный, дух захватывающий ужас, какой я испытывала в пять лет, внимая няниным сказкам.

К этому же времени моей жизни со мной стало происходить что-то странное: на меня по временам стало находить чувство безотчетной тоски — *angoisse*¹. Я это чувство живо помню. Обыкновенно оно находило на меня, если я ко времени наступления сумерек оставалась одна в комнате. Играю я себе, бывало, моими игрушками, ни о чем не думая. Вдруг оглянусь и увижу за собой резкую, черную полосу тени, выползающую из-под кровати или из-за угла. На меня найдет такое ощущение, точно в комнату незаметно забралось что-то постороннее, и от присутствия этого нового, неизвестного у меня вдруг так мучительно занает сердце, что я стремглав бросаюсь в поиски за няней, близость которой обыкновенно имела способность успокаивать

¹ Томление, тоска, чувство страха (*фр.*).

меня. Случалось, однако, что это мучительное чувство не проходило долго, в течение нескольких часов.

Я думаю, что многие нервные дети испытывают нечто подобное. В таких случаях говорят обыкновенно, что ребенок боится темноты, но это выражение совсем неверно. Во-первых, испытываемое при этом чувство очень сложно и гораздо более походит на тоску, чем на страх; во-вторых, оно вызывается не собственно темнотою или какими-нибудь связанными с ней представлениями, а именно ощущением надвигающейся темноты. Я помню тоже, что очень похожее чувство находило на меня в детстве и при совсем других обстоятельствах, например, если я во время прогулки вдруг увижу перед собой большой недостроенный дом, с голыми кирпичными стенами и с пустотой вместо окон. Я испытывала его также летом, если ложилась спиной на землю и глядела вверх, на безоблачное небо.

У меня стали показываться и другие признаки большой нервности, например, до ужаса доходящее отвращение ко всяким физическим уродствам. Если при мне расскажут о каком-нибудь цыпленке с двумя головами или о теленке с тремя лапами, я содрогнусь всем телом и затем, на следующую ночь, наверное, увижу этого уroda во сне и разбужу няню пронзительным криком. Я и теперь помню человека с тремя ногами, который преследовал меня во сне в течение всего моего детства.

Даже вид разбитой куклы внушал мне страх; когда мне случалось уронить мою куклу, няня должна была поднимать ее и докладывать мне, цела ли у нее голова; в противном случае она должна была уносить ее, не показывая мне. Я помню и теперь, как однажды Анята, поймав меня одну без няни и желая подразнить меня, стала насильно совать мне на глаза восковую куклу,

у которой из головы болтался вышибленный черный глаз, и довела меня этим до конвульсий.

Вообще я была на пути к тому, чтобы превратиться в нервного, болезненного ребенка, но скоро, однако, все мое окружающее переменялось и всему предыдущему настал конец.

II. <ВОРОВКА>

Когда мне было лет около шести, отец мой вышел в отставку и поселился в своем родовом имении Палибино в Витебской губернии. В это время уже упорно ходили слухи о предстоящей «эманципации», и они-то и побудили моего отца серьезнее заняться хозяйством, которым до тех пор заведовал управляющий.

Вскоре после нашего переезда в деревню произошел в нашем доме один случай, оставшийся у меня очень живо в памяти. Впрочем, и на всех в доме этот случай произвел такое сильное впечатление, что впоследствии о нем вспоминали очень часто, так что мои собственные впечатления так перепутались с позднейшими рассказами, что я не могу отличить одни от других. Поэтому я расскажу этот случай так, как он теперь представляется мне.

Из детской нашей вдруг стали пропадать разные вещи; глядишь, то то вдруг исчезнет, то другое. Стоит няне забыть про какую-нибудь вещь в течение некоторого времени, когда она опять ее хватится, ее уже нигде не оказывается, хотя няня готова побожиться, что сама, собственноручно, прибрала ее в шкаф или комод. Сначала эти пропажи принимались довольно хладнокровно, но когда они стали повторяться все чаще и чаще и распространяться на предметы все более

и более ценные, когда вдруг пропали одни за другими: серебряная ложечка, золотой наперсток, перламутровый перочинный ножик, — в доме поднялась тревога. Сделалось очевидным, что у нас завелся домашний вор. Няня, считавшая себя ответственной за целостность детских вещей, переполошилась больше всех других и порешила во что бы то ни стало накрыть вора.

Подозрения естественным образом должны были прежде всего пасть на бедную Феклушу, приставленную к нам для услуг девочку. Правда, что Феклуша уже года три как была приставлена к детской, и за все это время няня ни в чем подобном ее не замечала. Однако, по мнению няни, это еще ровно ничего не доказывало. «Прежде она мала была, не понимала цены вещей, — рассуждала няня, — теперь же выросла и умнее стала. К тому же у нее тут на деревне семья живет — вот она ей и таскает барское добро».

На основании подобных соображений няня прониклась таким внутренним убеждением в Феклушиной виновности, что стала относиться к ней все суровее и немилостивее, а у несчастной запуганной Феклуши, инстинктом чувствующей, что ее подозревают, стал являться все более и более виноватый вид.

Но как ни подсматривала няня за Феклушей, однако долго ее ни в чем уличить не могла. А между тем пропащие вещи не находились, а новые все пропадали. В один прекрасный день исчезла вдруг Анютина копилка, постоянно стоявшая в нянином шкафу и заключающая в себе рублей сорок, если не больше. Сведения об этой последней пропаже дошло даже до моего отца; он потребовал нянюшку к себе и строго приказал, чтобы вор был найден непременно. Тут уж все поняли, что дело не до шуток.